

Ирина
Муравьева

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА



«Почему-то с детства, Гена, — делала изюмчики, помидорки
Нина Лавочкина. — А по мне очень мне что-то от все изюмчики».

ПРЕМИЯ БУКЕРА
SHORTLIST

Ирина Лазаревна Муравьева

Веселые ребята

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174608
И.Муравьева Веселые ребята: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-31003-6*

Аннотация

Роман Ирины Муравьевой «Веселые ребята» стал событием 2005 года. Он не только вошел в short-list Букеровской премии, был издан на нескольких иностранных языках, но и вызвал лавину откликов. Чем же так привлекло читателей и издателей это произведение?

«Веселые ребята» – это роман о московских Дафнисе и Хлое конца шестидесятых. Это роман об их первой любви и нарастающей сексуальности, с которой они обращаются так же, как и их античные предшественники, несмотря на запугивания родителей, ханжеское морализаторство учителей, требования кодекса молодых строителей коммунизма.

Обращение автора к теме пола показательное: по отношению к сексу, его проблемам можно дать исчерпывающую характеристику времени и миру. И такой писательский подход неожидан.

Очень символично название романа. «Веселые ребята» – это название самой известной советской музыкальной кинокомедии, созданной в отнюдь не веселые времена. «Веселые ребята» И.Муравьевой – трагикомическое повествование о самом мажорном периоде жизни советского народа. Более того, о довольно трагическом периоде жизни человека – юности.

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Ирина Муравьева

Веселые ребята

Часть первая

Раздевалка девочек была отделена от раздевалки мальчиков тонкой перегородкой, через которую было слышно все, включая дыхание и шелест чулок. В закутке, общем для обеих раздевалок, стоял запах острого пота, внутри которого плавало множество побочных запахов, начиная от кислого – резины – и кончая горьковатым запахом польских духов «Черная кошка». Сильнее всего пахло от Юли Фейгензон. От ее влажной, в мягких глубоких складках полноты, на которой еле застегивалась старая школьная форма. Мы сидели на одной парте, и каждое движение ее смуглой руки с короткими пальцами, каждое ленивое почесывание ладонью заросшего темным пушком виска или машинальное погружение карандаша в глубину каштановых, с золотом, слипшихся кудрей приводило к тому, что мокрая, в белесых разводах подмышка, высунувшись из складок передника, ударяла по моим ноздрям дикой силы сладковатым неподвижным запахом, который, как мне казалось, и был душой Фейгензон, выражал собою всю ее – девочку из бедной семьи, молчаливую, рано созревшую, которая уже в девять лет носила огромный, серого цвета лифчик, плохо училась и смотрела на мальчиков смеющимися темными глазами в густых ресницах.

Переодеваясь для урока физкультуры, я старалась выбрать лавку подальше от Фейгензон, которая, кстати сказать, на физкультуру ходила редко и каждый свой пропуск объясняла учителю Николаю Ивановичу – бешеному фронтовику – тем, что у нее «это дело». А Николай Иваныч раздувал волосатые ноздри, всем своим нутром переживая то, что придется выслушивать, и, упершись левым зрачком в ее распираемый мощной грудью передник, махал рукой с плоскими ногтями потомственного алкоголика:

– Ладно!

Она так просто, так доверчиво сообщала, что не сможет ни перепрыгнуть через козла, ни сделать березку, будто Николай Иваныч был школьной медсестрой, а не чужим человеком, мужчиной, чуть было не сломавшим однажды руку Сергею Чугрову за то, что тот, долговязый и неловкий, карабкаясь по шведской стенке, поскользнулся и неожиданно съехал вниз, прямо на шею растерявшегося от неожиданности, но тут же налившегося сизой кровью физкультурника, который изо всей силы схватил Чугрова за руку и так резко рванул ее вниз, что хрустнули все суставы. Наши мальчики обходили Фейгензон вниманием, она была слишком большой, потной и неподвижной, в то время как им до смерти хотелось вертлявых девчонок с тонкими талиями и темными сосками, которые проступали под майками во время все той же физкультуры, когда раскрасневшаяся одноклассница, сверкая глазами, неслась к кожаному, продранному с одного бока козлу, чтобы под одобрительные покрикивания ломких басков перескочить через него, если получится, а если нет, то упасть, будто ее сразила пуля, на блестящий от пота, продавленный мат, вспыхнув полоской кожи между задравшейся майкой и сатиновыми трусами.

В это утро они сидели на лавочке втроем: Фейгензон, Орлов и Чернецкая. Фейгензон было четырнадцать, потому что она поступила в школу немного позже, а Орлову и Чернецкой тринадцать. Кончался март, долгий, промозглый месяц, когда воздух в высоких, наполовину забеленных окнах актового зала наполняется торопливой надеждой непонятно на что, а снег на земле сжимается и темнеет, как стариковская кожа.

В отличие от тошнотворно пахнущей Фейгензон с ее постоянным посмеиванием и мокрым ртом, Чернецкая была аккуратно причесана, быстроглаза, надушена и без усталости кокет-

ничала со всеми лицами мужского пола, начиная со свирепого Николая Ивановича и кончая учителем истории Робертом Яковлевичем, высоким, с тремя скрюченными пальцами, торчащими из обтянутого кожей отростка, – вместо правой руки, и пустым рукавом, засунутым в карман пиджака, – вместо левой. Чернецкая кокетничала и с ним, и с Николаем Ивановичем, и с председателем совета дружины прыщавым Володей, и с милиционером, который руководил переходом через Смоленскую площадь, и с каждым из тех черноусых кубинцев, борцов за свободу и независимость, которые появились однажды в нашей школе на утреннике благодаря ее же, Чернецкой, матери, переводчице с испанского, работающей в Доме дружбы – небольшом, завитом, как улитка, старинном особняке, в котором, говорят, когда-то, еще в прошлом веке, умерла целая дворянская семья, отравившись конфетами.

Чернецкая кокетничала голосом, ресницами, плечами, руками, ногами. Она кокетничала всем существом и по правилам, которые были от рождения впаяны в ее плоть и кровь, а безнадежно отставшие мальчики, не готовые к ее откровенному женскому зову, ошалевали и отвечали на эту вдруг закинутую голову или упавший до шепота грудной голосок своими наивными ребяческими грубостями.

Итак, они сидели на лавочке. Орлов, Чернецкая, Фейгензон. У Орлова был мужской подбородок и темные тяжелые глаза, которыми он внимательно рассматривал все тонкие талии, все крепкие, как шишечки на молоденьких елках, соски, все вспыхивающие бедра. Взгляд этот был намного старше самого Орлова и изнурял его. Он был рассчитан на то, что Орлову не тринадцать, а по крайней мере семнадцать или даже побольше, когда человек уже представляет себе, что ему делать с женскими талиями, чтобы понапрасну не мучиться. Раздался звонок, одновременно с которым Фейгензон тяжело вздохнула и поднялась, а они, слегка касаясь друг друга, продолжали сидеть, словно им и впрямь было важно, чем кончится эстафета, кто быстрее добежит до стенки – Лapidус из команды мальчиков или Карпова Татьяна из команды девочек, поэтому, как только мягкая и неуклюжая Фейгензон поднялась, они одновременно увидели, что влажная лавочка, только что освободившаяся от нее, густо испачкана кровью. Орлов понимающе усмехнулся и заиграл своими тяжелыми темными глазами, а на щеках у Чернецкой вспыхнул сухой красный шиповник.

– Бедные вы, бабы, – вздохнул Орлов, у которого занял вдруг низ живота и стало кисло во рту. – Достается вам... Бедные...

И преодолевая дрожь в коленях, пошел к двери.

– Куда? – зарычал на него потный Николай Иванович. – А дневник?

– У меня освобождение. – Орлов приостановился. – Зачем вам мой дневник?

– Что-о-о-о? – заорал Николай Иванович. – Ты с кем разговариваешь? На кого голос поднимаешь?

– Я не поднимаю. – Мощный Орлов опустил глаза. Желваки у него заходили. – Я вам объясняю: освобождение после гриппа.

Что померещилось Николаю Ивановичу, Бог его знает. Но – как это бывало всегда, когда подступало бешенство, – он, выкатив наружу застланные кровью белки, рванул Орлова за воротник и с воплем «молчать!» бросил его обратно на лавку. На глазах у Чернецкой, потому что, кроме них, в физкультурном зале никого не было. Но именно оттого, что это случилось на глазах у женщины, которую он только что остро почувствовал, тринадцатилетний Орлов вскочил и басом, не ломающимся, а настоящим, глубоким, хлынувшим из его ходуном заходившего горла, выдохнул прямо в запенившийся рот Николая Ивановича:

– Сам молчать!

И Николай Иванович, на которого неоднократно жаловались пухлой Людмиле Евгеньевне, директору школы, родители тех детей, которых он чудом не изувечил, вдруг действительно замолчал и махнул по своей привычке рукой с темными и плоскими ногтями.

Потащился в учительскую, бормоча себе под нос те недожеванные ругательства, которые он бормотал когда-то, сидя, молодым и кудрявым, в гниющем окопе.

– Гена, – задыхаясь, сказала Чернецкая, маленькая женщина, только что присутствовавшая при совершенном ради нее дерзком поступке и жадными ноздрями уловившая запах вызванного ее телом желания. – Разве можно так? Ты же его знаешь...

– А тебя – нет, – спокойно, новым своим, только что прорвавшимся басом ответил Орлов. – Пора бы и нам познакомиться.

Они принялись знакомиться на глазах у обоих классов, слегка растерявшихся от этого столь бурного и откровенного любовного праздника: он смотрел на нее, она смотрела на него, и, если гуляла в перемену под руку с другой девочкой, чаще всего своей ближайшей подружкой – длинной, глуховатой Белолипецкой, Орлов неизменно шел сзади, посмеиваясь, прожигая темными глазами ее покатые плечи, узкую спину, маленькие выпуклые ягодицы, взволнованно вздрагивающие от его приклеенного, как горчичник, взгляда. Ясно было, что он ждет не дожидается, чтобы скорее закончились уроки и наступила та неуверенная свобода, на которую со всех сторон зарились бывшие фронтовики, инвалиды, матери-одиночки, – вся эта беспокойная учительская шайка, где каждый так и норовил впиться в сладкую детскую душу, вывернуть ее наизнанку, вытряхнуть из нее все не дозревшие еще семена, все нежные косточки, заорать, наливаясь кровью, пристыдить, разодрать когтями, лишь бы отомстить за свое собственное, засиженное навозными мухами, водкой пропахшее детство.

Сразу, как только кончались уроки, смеющийся Орлов норовил подловить Чернецкую в дальнем углу раздевалки и там, среди вороха мокрых, потертых воротников, сброшенных ботинок, клетчатых шарфов, вязаных шапок, прижать ее, розовую, с опущенными глазами, к стене или вдавить ее маленькое нежное тело в гущу растерзанных курток, дожидаться, пока она перестанет сопротивляться, застынет под его большими руками, и тогда он, мучаясь разламывающей низ живота болью, начинал осторожно покрывать поцелуями это лицо с узкими глазами молоденькой гейши, острый подбородочек, белую шею, норовя – внутри поцелуя – еще и расстегнуть верхнюю пуговицу коричневого платья и запустить что удастся – руки ли, губы ли – в раскаленную вздрагивающую развилку.

Так они дожили до лета, изнуряя друг друга прикосновениями, обжигая глазами, пока не наступила пыльная московская жара, духота, не слабеющая даже ночью, и в первую неделю июня мама Чернецкой начала стелить себе в гостиной, откуда ей было легче прокрадываться в прихожую, не боясь разбудить чутко похрапывающую в чуланчике домработницу Марь Иванну. В прихожей, где висел большой черный телефон, она торопливо набирала номер и, приглушая голос, зажимая трубку ладонью, по часу шепталась с кем-то, изредка переходя на испанский, постанывала и один раз даже вскрикнула, громко, как голубь, влажно, коряво и глухо, но не испугалась своего крика, потому что мужа ее, отца Натальи Чернецкой, заведующего гинекологическим отделением больницы номер 59, не бывало дома в это время, и где он находился – то ли принимал роды, то ли сам делал детей другим женщинам, – мало беспокоило ее, синхронную переводчицу с испанского языка, прогрызшую себе дорогу наверх, в каменный, завитой, как улитка, Дом дружбы. За несколько этих лет, пока она грызла, еле слышно посапывая от напряжения, торопливо замазывая яркомалиновой помадой пересыхающие от улыбки и болтовни губы, пришлось мимоходом проглотить нескольких неприятных соперниц, норовивших туда же, куда и она, так же, как она, терпеливо подсакивающих на чужих матрасах внутри чужих дач рядом с чужими, хрипловато икающими от белуги мужьями, которые, в конце концов, и решали, которая из этих женщин подскочила выше других и с кем из них можно, как говорится, идти в разведку.

Она победила соперниц – тихо, умно, незаметно, и тут же он стал безразличен ей – ее собственный муж с оттопыренными от благодарных денег карманами, потому что теперь она

уже не только сама получала подарки – духи, мохеровые кофточки, блестящие колготки, – но оказалась выездной, начала ездить на Кубу, где иногда даже сходила за свою из-за черных глаз и испанского темперамента, в то время как настоящие свои – тоже черноглазые и темпераментные – отдавались советским морячкам за бутылку водки и флакон одеколона. О девочке, спящей под зорким присмотром Марь Ивановны, мягко и празднично закруглевшей своей уже не вполне детской плотью в эту последнюю зиму, она заботилась ровно настолько, насколько нужно было заботиться о ребенке молодой энергичной женщине, с головой ушедшей в работу, но каждый раз, когда черноусые кубинские друзья спрашивали ее о семье, радостно отвечала, что у нее есть дочка, и тут же показывала фотографию, искренне любясь нежным, излучающим свет изображением: она сама и ее девочка, сидящие в обнимку под русской березой. Черноглазой грызунье не приходило, разумеется, в голову, что каждый раз, когда она босиком прокрадывается в коридор позвонить, девочка со свесившимися набок спутанными каштановыми кудрями приподнимается на локте и, прикрыв узкие глаза, изо всех сил прислушивается к голубиному материнскому клекоту.

Они занимали большую профессорскую квартиру – Неопалимовский переулок, дом 18 дробь 2, – и сначала с ними жили родители ее мужа, которые постепенно умерли, первой – мать, а прошлым летом отец, тоже гинеколог, очень известный, не боявшийся даже делать аборт прямо у себя в кабинете, превращенном после его смерти в комнату внучки.

В дни, когда предполагался аборт, Марь Иванна, в чистом хлопчатобумажном платке, с твердо поджатыми тонкими губами, уводила маленькую женщину Чернецкую гулять на Девичку – так назывался сквер, где она, твердогубая, крепкорукая Марь Иванна, глаз не спускала с аккуратной золотисто-коричневой головки, единственной радости своей осиротевшей жизни. Двадцать шесть лет было Марь Иванне, когда она, похоронив быстро умершего от непонятной болезни жениха, попала в город, долго скиталась по чужим домам, мыкалась по чужим семьям, пока не очутилась наконец в Неопалимовском переулке, дом 18 дробь 2, где через год после ее прихода родилась у молодой хозяйки Стеллочки чудо-девочка с узенькими глазами. Тут Марь Иванна успокоилась и стала эту девочку растить. Поначалу ей помогала профессорская жена Любовь Иосифовна, иссушенная ревностью, старая, седая, с роскошными, до старости сохранившимися волосами, но потом она начала болеть, чахнуть, ездить по бесконечным санаториям, и силы на внучку закончились. Хорошо, если почитает ей перед сном какую-нибудь книжечку, Стеллочки-то и вовсе не бывало дома.

После смерти Любви Иосифовны муж ее, выйдя на пенсию, продолжал принимать больных у себя в кабинете, а все аборт назначал почему-то на пятницу. Марь Иванна уводила Чернецкую гулять и, возвратившись, накрывала обедать в гостиной. Усаживались втроем: дед, домработница и ребенок – внучка. После супа старый профессор шел в свой кабинет и говорил лежащей на кушетке, слегка всегда окровавленной (ноги с внутренней стороны), безобразно бледной пациентке:

– Можете потихоньку вставать и идти домой. Подымется температура – звоните.

Никто и никогда не убирал у него в кабинете после аборта, даже Марь Иванна не допускалась, и маленькую женщину Чернецкую до тошноты испугало однажды то, как дед появился с мокрой и бурой от крови тряпкой в руках, сторбившись, быстро прошел мимо них с Марь Ивановной, опустил глаза, скользнул в уборную и там долго, с силой дергал за ручку, – вода лилась мощно, бурно, а дед все не выходил, и, когда наконец вышел, на лице у него было сердитое выражение.

В июне оба восьмых класса – «А» и «Б» – отправились в трудовой колхозный лагерь для прохождения летней практики с воспитательными целями. Лагерь был разбит на опушке леса в километре от деревни, сорока километрах от города, жить нужно было в палатках, вставать почему-то в шесть, а ложиться в десять, злобно кусались комары, особенно маля-

рийные, в палатках было душно, старые девы – учительницы (Нина Львовна, Галина Аркадьевна) терзали комсомольцев днем и ночью, смягчаясь только тогда, когда начинались песни у костра, и в частности «Синий троллейбус».

Под «Синий троллейбус» неистовые старые девы опускали глаза, начинали перебирать своими неухоженными пальцами края самовязанных ядовито-розовых или тускло-серых с коричневым свитерков, неуверенно подтягивать неверными голосами и, растворяясь своими никем не целованными, никому не понадобившимися телами с клубочками глубоко запряганных, сморщенных душ в гитарной истоме, чувствовали, что все еще может перемениться, стать голубым и зеленым, и тогда их доцелуют, долбуют, воскреснут Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой, которые были им, здоровым и плотно сбитым педагогам Нине Львовне и Галине Аркадьевне, предназначены, а вот не вышло, не сбылось, лежат в земле сырой, а поверх отвоеванных у фашистов полей стелется туман, и плывут по нему черный буйвол, и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем тра-та-та-та-та-та-та живу?

И Нина Львовна, и Галина Аркадьевна не сразу поняли, что происходит между Орловым и Чернецкой. Много сбивало с толку. Во-первых, Чернецкая была большой активисткой и отличницей, на которую не хотелось сердиться, потому что были для этого другие – неприятные, несговорчивые девочки, например Соколова – огромная, с огненного цвета тяжелой, в жестких кольцах, косой, которая всегда была растрепанной, а щеки бордовыми, а смех оглушительным, и никогда он не умолкал, этот смех, даже ночью, когда, казалось, все уже давно заснуло, и тут вдруг, в боковой палатке, вспыхивал хохот дикой и бессознательной Соколовой. Кроме нее было еще несколько таких же, отвратительных для Галины Аркадьевны и Нины Львовны, будущих женщин, ироничных, насмешливых, застенчивых, себе на уме, которые не желали понимать (так уж, наверное, были воспитаны!), насколько все вообще должны быть благодарны нашей советской власти, и вместо этого усмехались, переглядывались с такими же, как они, замкнутыми и насмешливыми мальчиками во время политинформации или когда приезжали в школу уважаемые люди. Мать Зои и Шуры Космодемьянских, например, или любимая девушка бесстрашного весельчака Сережки Тюленина, замученного вместе с Олегом Кошевым, эта самая Валентина, о которой великий писатель Фадеев написал (ах, весна, вишни цветут, жить бы да жить ребятам!), написал Фадеев, что у нее на ногах был золотистый пушок, и Сережка, весельчак, бесстрашный (жить бы да жить!), прямо перед выполнением ответственного задания комсомола полюбовался еще раз этим золотистым пушком, и потом ему было что вспомнить в фашистском застенке, когда иголки загоняли под ногти, кипятки лили на голову... Было что вспомнить.

Ну и что же, что сама Валентина читала о Сережке Тюленине по тетрадке, а ноги у нее были как два сучковатых полена? Ну и что же, что – сутулая, неприветливая, в коричневом берете, – дочитав, она курила папиросы «Север» – одну за другой – прямо в актовом зале, не стесняясь детей, и явно норовила поскорее улизнуть, напялить на свою горбатую спину прокуренное пальтишко? Человек через такое прошел, потерял единственно любимого, сохранил ему верность – отсюда и горб, и берет, отсюда и «Север»! – а всё ради нас, неблагодарных, ради нашего будущего, веселые ребята, и в ноги нужно поклониться такому человеку, в ноги, с пушком ли, без пушка ли, но именно в ноги, и чтобы клятву принести, звонкую комсомольскую клятву... Ах, синий троллейбус!

Сердиться на Чернецкую не хотелось, она была правильно воспитана своей мамой Стеллой Георгиевной, переводчицей с испанского, которая работает с группами кубинских борцов за свободу и независимость. Ездит с ними вместе на Кубу, остров зари багряной.

Слышишь? Идут барбадос? В небе та-та-та их огненный стяг... Слышишь ты или нет, в конце концов?

А такая ведь могла бы получиться избалованная девочка, потому что и домработница у нее (Марь Иванна свою Наташечку не оставила, пристроилась в лагерь поварихой!), и квар-

тира у них великолепная, три комнаты в Неопалимовском, с роялем (дедушка с бабушкой в четыре руки играли!), и кофточки – ни у кого таких нет, даже у директора школы Людмилы Евгеньевны, – а она, Чернецкая, несмотря ни на что, скромная, приветливая, первой вступила в комсомол, и родители у нее – такая красивая пара, еще много лет должно пройти, пока все наши советские семьи будут такие красивые, да хорошо одетые, да так уметь себя вести, как эти...

С Орловым было труднее. Орлов, хоть и считался по возрасту мальчиком, по сути своей был, что называется, настоящим мужиком, и то, что внутри у него мужик этот ходуном ходит, ощущалось даже Галиной Аркадьевной и Ниной Львовной, заставляя их подтягиваться в орловском присутствии, взвешивать слова, краснеть и приглаживать волосы. Посомневавшись, классные руководительницы сошлись на том, что у нас в лагере началась Большая Человеческая Любовь и мешать ей нельзя, потому что она Чистая.

Прикрытые своей Большой и Чистой Любовью, Орлов и Чернецкая ходили как пьяные.

В шесть часов на линейке, когда роса крупными каплями пылала в траве, а в деревне за километр заходились петухи, Орлов самодовольно оглядывал заспанных девочек, только что содравших с волос большие железные бигуди и наскоро накрасивших ресницы. Потом зевал и отворачивался. Вскоре, однако, взгляд его загорался: Чернецкая, всегда немного опаздывающая, подпрыгивая на бегу, торопилась из своей палатки, только что разбуженная добросовестной Марь Иванной. Этим загоревшимся взглядом Орлов неторопливо осматривал с головы до ног каждый каштановый волосок ее, каждую припухлость, изгиб, складочку, облизывался своими большими, вывернутыми губами – желваки его вздрагивали, – а наши угловатые мальчики, остро чувствуя, как далеко он ушел от них по пути мужества, прочищали свои прыщавые горлышки ломким кашлем и перешучивались. Вечером, у костра, девочки усаживались в первый ряд, поближе к огню, мальчики во второй, но оказывалось как-то так, что Орлов сперва сидел, тесно прижимаясь боком к Чернецкой, неподвижно глядящей в огонь, потом он раскладывался – полулежа, опираясь на локоть, – между нею и всеми остальными, заслоняя ее собой, отвоевывая пространство, потом, словно бы забывшись, сгибал локоть, падал затылком на ее колени, руки заламывал за голову, так что в конце концов ладони его соединялись за ее узкой спиной, но тут все настойчивей и настойчивей становились голоса, призывавшие синий троллейбус, потому что благодаря синему троллейбусу все на свете становилось чистым.

Никто из комсомольцев не знал, однако, было ли между ними «всё».

Галина Аркадьевна и Нина Львовна оказались, разумеется, дальше всех от истины, уверенные, что мальчик и девочка – да! – могут дружить, а потом, когда вырастут и поймут, что дружба (она же Любовь!) настоящая, они обменяются кольцами (можно и без колец: ни у Сережки Тюленина, ни у Ульянки Громовой никаких колец не было!), и тогда разрешается им поцеловаться и потом что-то «такое еще» (очередь на двухспальную кровать была на несколько лет дольше очереди на «Хельгу»), что-то «такое еще» разрешается в этой самой кровати, в длинной нейлоновой ночной рубашке, иногда выплывающей, как привидение, в центре ГУМа у фонтана (отдел женского белья и постельных принадлежностей), а уж после «такого еще» улыбающаяся Чернецкая придет в родную школу с голубой колясочкой. Ах, кто это там? Вася, да? Василёк! Ну, поздравляем!

По ночам в лагере дежурили: две девочки и двое мальчиков. Каждой четверке отводилось по два часа. С десяти до двенадцати, с двенадцати до двух, с двух до четырех и с четырех до шести. Ночи были холодными. Озябшие дежурные неизвестно зачем слонялись в тумане, прислушивались, чтобы никто внутри палаток не разговаривал, останавливали тех, кто, спотыкаясь, шел в уборную, спрашивали, куда идет и зачем, потом перемещались на пустую кухню – царство чутко дремлющей Марь Ивановны. В кухне разрешалось выпить по стакану чая, согреться, там же травили анекдоты, играли в морской бой, иногда мальчики закури-

вали, если доверяли тем девочкам, с которыми дежурили, но бывало, что девочки доносили, и тогда на следующий день собиралась экстренная линейка, преступника вызывали на середину лужайки, приказывали стать рядом со знаменем и честно, всем, вслух, громко рассказать, как он дошел до того, чтобы закурить. Галина Аркадьевна и Нина Львовна, с лицами красными, как у вампиров, задавали свои вопросы тихими металлическими голосами и с таким неподдельным ужасом, словно воскресшего Витьку с Моховой застукали на любовнице:

...может быть, ты, Иванов (Петров, Сидоров, Лapidус), решил, что без курения жить не можешь? Так ты нам так и скажи! Или, может быть, ты чувствуешь, что мнение товарищей для тебя больше не авторитет? Может быть, тебе все равно, примут тебя в комсомол или не примут? Ты, может быть, можешь прожить жизнь и БЕЗ комсомола? Без? Ну, говори!

Ах, если бы обратно, в серые костлявые времена, поглубже куда-нибудь, чтобы без разговоров, без поблажек, а запалить костер до самого неба – и туда его, негодяя, курильщика малолетнего, стилигу, в огонь его, чтобы косточки обуглились, чтобы кожей запахло! Стоишь вот, мерзавец, и советская власть тебе нипочем, и за комсомол не умрешь, и для партии жизнью не пожертвуешь, стоишь, с ноги на ногу переминаешься, на губах ухмылочка, а в твои годы другие ребята кровь свою проливали, крови своей не жалели, чтобы ты сейчас, мерзавец, стилига, мог переминаясь спокойно, чтобы над твоей головой никакие американские истребители...

Все это так и хрипело, так и свистело – того гляди вырвется! – в булькающих глотках Нины Львовны и Галины Аркадьевны, но они сдерживались, ненависть выходила беленькими пузырьками из уголков рта, и только дикой жадностью наполнялись их неистовые глаза, когда активисты наши – настоящие ребята! – снова и снова просили разрешения выступить, и шел суд над мерзавцем-курильщиком, шел при блеске луны, в соловьином пении!

...что ж ты, значит, не дорожишь ни мнением своих товарищей, ни мнением своих педагогов? Ты, что же, хочешь быть похожим на этих западных стилиг, американцев этих, которые из рук сигарету не выпускают? А ты подумал, почему они курят? Ты их жизнь себе хоть на секунду представил? С безработицей? С трущобами? А та-та-та... У-ту-ту-ту... Нет, он еще усмехается! А в глаза почему товарищам не смотришь, почему? Тебе же все равно не стыдно!

Маленькая полногрудая Чернецкая тоже тянула вверх правую руку с продолговатыми ноготками, тоже хотела выступить, осудить и звонким своим, нежным, томящимся голосом пела, как все, про предательство идеалов, про влияние Запада, а умные молчаливые мальчики иронически поглядывали на молодого Орлова – как же ты, мол, с идиоткой-то, – на что молодой Орлов усмехался снисходительно, опускал глаза, крутил головой, давая понять, что не следует требовать ума от женщины, не следует, не этим они сильны, женщины...

То, о чем даже и подумать не могли без отвращения Нина Львовна и Галина Аркадьевна, давно уже стало фактом действительности, и нежная плоть узкоглазой Чернецкой изо дня в день содрогалась под сокрушительными ударами мощной плоти стремительно взрослеющего Орлова. Место страсти – вихрастый, молоденький ельник за оврагом – было выбрано, и все меры осторожности соблюдались, потому что – правильно рассудил молодой Орлов – никто не будет перебираться через овраг, чтобы их там застукать, рядом были места куда гуще, и, казалось, уж если прятаться, так в этой непролазной густоте, а они по камешкам, по жердочкам, которые потом сами же и убирала, переходили на ту сторону, падали в поросшую густой сине-зеленой травой впадину, и никто, кроме черноглазых птиц, торопливых белок да волосатых гусениц, не знал, каким огнем наливались сильные пальцы Орлова, когда он, дрожа от нетерпения, рвал кнопки, путался в тесемках ее женственных и невинных, терпеливой Марь Ивановой сшитых платьиц, обеими руками оттягивал от горячих висков ее цвета молочного шоколада пушистые косы, и ни просвета не оставалось между их соеди-

нившимися, бурно и ладно дышащими под одобрительный шум деревьев телами. Правы были умные мальчики, когда подбрасывали брови к небу, выражая свое удивление по поводу выступлений активистки Чернецкой на комсомольских собраниях, ее вечно поднятой руки с серебристыми ноготками, но трижды прав был Орлов, который уверенно брал ее за эту руку, переводил, а иногда – скрежеща зубами от уже невыносимого желания – как пушинку переносил через темную, нагретую, настоявшуюся воду оврага, бросал в сине-зеленую травяную впадину и сам бросался в другую, горячую, как огонь, нежную впадину между ее вполне уже женскими маленькими ногами.

Их, разумеется, неоднократно видели вместе возвращающимися из лесу, с розовыми пятнами на лицах, с опущенными глазами, но настолько маловероятным было превращение этой отличницы, с которой пылинки сдувала жилистая, в чистом хлопчатобумажном платке нянька, в беспутную маленькую женщину, от рождения владеющую всеми ухватками портовой проститутки, так далека была эта ничего не стыдящаяся портовая проститутка от старательной узкоглазой восьмиклассницы, что весь лагерь как заколдованный твердил подмороженную фразу «у них любовь» и не вдавался в подробности.

В деревне, расположенной неподалеку от лагеря, наступил между тем праздник Ивана Купалы, Иванов день. Сладко пахло клевером с поля, шумели камыши, гнулись деревья, казалось, что еще немного – и разразится гроза, хлынет ливень, мутный, серебристый, белый, с ледяным, в яблочную величину, градом, и тогда уйдет вместе с ним, растворится в расплывшейся земле, в слизистых травах невыносимое какое-то раздражение, в котором злости было столько же, сколько восторга, и все хотелось непонятно чего: разломать, разрыдаться, убежать куда-нибудь, зацеловать кого-нибудь до смерти...

Нина Львовна и Галина Аркадьевна ходили настороженные, вытянув гусиные шеи, шипели, чтобы сегодня никто не переступал черту лагеря, а надо готовиться к родительскому дню, доделать стенгазету, разработать план военной игры на следующее воскресенье, короче, чтобы все сидели тихо, пока там, вдали, за рекой отгуляют свое, отбезобразничают, отголосят и улягутся спать. На всякий случай собрали линейку. Мальчики пришли хмурые, пыля кедрами, на девочек не смотрели, переминались с ноги на ногу. Галина Аркадьевна – помоложе Нины Львовны – уронила уголки рта, плаксиво сморщила щеки, все старалась поймать в воздухе бархатные зрачки самого высокого из всех, самого мускулистого комсомольца Михаила Вартаняна, которого задыхающаяся от быстрой ходьбы бабушка провожала ежедневно до дверей школы, ловя усатым ртом воздух, засовывала ему в портфель горячие, жирные пирожки. Бедная Галина Аркадьевна, сама не понимая, что с ней, давно уже вспыхивала, как красная смородина, исподтишка разглядывая Вартаняна так, как заботливые хозяйки разглядывают разложенные на прилавке мясные туши: взволнованно, с любовью и тревогой прикидывая, что пойдет на холодец, из какой части накрутить солоноватых котлеток... По простодушию своему Михаил Вартанян часто отвечал Галине Аркадьевне на ее бегающие влажные взгляды, особенно во время контрольных по математике, когда все лбы наклонены к тетрадкам, он, как загипнотизированный, поднимал волосатую свою, не дозревшую до любовных загадок голову, и по три-четыре минуты они с Галиной Аркадьевной смотрели друг на друга, пока он не начинал недоуменно ерзать на парте, а она, покрывшись лишаями румянца, отворачивалась, чтобы судорожно протереть тряпкой и без этого чистую доску.

Однако сейчас, на линейке, Вартанян смотрел себе под ноги, словно – пока шел от палатки к поляне – вдохнул он предгрозового сердитого воздуха, возмужал, отравился и теперь, хоть вы режьте его, не желает замечать круглых, с шипящим угольком раздражения внутри, учительских взглядов.

– Если, – вскрикнула Нина Львовна, – сегодня к нам в лагерь придут ребята из деревни и попросят у вас чего-то...

– Чего? – расхохоталась неуправляемая Соколова. – Воды попить?

Нина Львовна сглотнула кусок кислой, как незрелая антоновка, ярости.

– Сегодня ребята в деревне могут быть нетрезвыми, и поэтому разговаривать с ними ЗАПРЕЩЕНО!

Все вроде поняли, разбрелись по палаткам. Через десять минут вышел, позевывая, молодой Орлов, оборотил лицо к небу, улыбнулся во всю широту самоуверенного рта, побрел неторопливо в сторону уборной. Еще через пять минут выскочила узкоглазая Чернецкая, угодила прямо в объятия беспокойной Марь Ивановны (та шла к ней из кухни, несла на вытянутых руках похожую на свежей испеченный «наполеон» стопку кружевных выглаженных трусиков), звонко расцеловала старуху, прошебетала что-то, заморочила голову, и умчалась неведомо куда золотая крутобедрая тучка.

За ужином Галина Аркадьевна обнаружила пропажу Юли Фейгензон. Бросились в палатку. Обшарили все кусты неподалеку. Разбились на шестерки, вооружились фонарями.

– Фейгензон! Фейгензон! – мучились классные руководительницы.

Им вторили ломкие голоса несерьезных мальчиков:

– Юль-Юль-Юлья-я-я!

– Юля-я-я?! – ахали девочки, слепя друг друга ненужными фонарями. – Ты где?

– Родит, тогда вернется, – пробормотал наконец Орлов и, заметив, что у Чернецкой развязался шнурок на беленькой заграничной тапочке, не стесняясь, опустил на корточки, завязал шнурок и, как птенца, поймал в ладони дрожь ее нежной щиколотки.

Чернецкая тяжело задышала.

– Что ты сказал, Орлов? – Из липового дупла высунулась Нина Львовна. – Умнее всех хочешь быть?

– Я? – удивился Орлов. – Я разве что-то сказал?

– Доиграешься ты, Орлов. – Она дернула шеей. – Мать твою жалко.

Вдруг кто-то спохватился, что Фейгензон видели «за чертой лагеря» во время тихого часа: стояла как миленькая, балакала с тремя деревенскими. Может, с ними и ушла? Нина Львовна и Галина Аркадьевна переглянулись.

– Всем – в палатки, никуда не выходить, – хрипло приказала Галина Аркадьевна. – Вечерняя политинформация отменяется. Мы с Ниной Львовной идем в деревню. С нами пойдут четверо: Вартанян, Орлов, Лапидус и Лебедев.

До деревни было чуть больше километра. Гроза так и не разразилась, хотя в воздухе по-прежнему стояло тяжелое душное марево, и казалось, что сам этот воздух, уже вечерний, не серого и не черного, а густо-розового, с малиновыми разводами внутри, цвета. Дико и весело разрывалась гармошка рядом с недавно отстроенным, тошно пахнущим краской помещением клуба. У крыльца толпились люди среднего возраста, все крепко выпившие, все принаряженные. Белоголовые дети с остановившимися глазами жались к материнским подолом, сосали липкие кулачки. Одна из женщин, полная, с очень красным, блестящим от пота лицом и широко расставленными глазами, вдруг отчаянно взвизгнула, сорвала с головы цветастый платок, открыв жиденький пробор, круглый гребень, и, топнув ногой, завертелась на месте, выкрикивая частушку:

Вы не пойте длинных песен, хватит с вас коротеньких,
Не... старых девок, хватит с вас молоденьких!

Нина Львовна поджала губы, Галину Аркадьевну передернуло. Празднично одетые колхозники заметили гостей:

– Лагерники пришли! Московские!

– А бабочки гладкие, поди, прыткие! – натруженным горлом хрипнул высокий мужик в засаленной кепке, шатаясь и часто сплевывая. – Я б, растудить вам тудить, не побрезгую! Вокруг одобрительно засмеялись.

– Мы ищем одну из своих учениц, – громко сказала Нина Львовна, – крупная такая девочка, кудрявая...

– Жидоватая? – уточнил мужик и снова сплюнул, густо, желто, обильно, прямо под ноги Нине Львовне. – Кучерявая?

– Да, – обмирая, сказала Нина Львовна.

– Не тута ищите, – расхохоталась та, которая пела частушку, и бессмысленно-радостно затараторила: – Ой, не тута, ой, не тута! Ой, не ту-у-ута!

– А где? – строго перебила Галина Аркадьевна.

– В лесу шастают, – махнула ладошкой певунья, – у их, у робят, там костры жгут! Во-на-а-а туда идите, тама она, жидоватая! А не тута! Ой, не тута, ой, не тута!

Через пятнадцать минут глазам Галины Аркадьевны, Нины Львовны, а также Орлова, Лебедева, Лapidуса и Вартаняна предстала страшная картина. (В сорока пяти километрах от Москвы. В тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. Через пятьдесят лет, в общем, великой победы революции.) В центре поляны сверкал высокий – до черного, беззвездного неба – костер. Рядом с костром громоздилось сделанное из пестрых тряпок, бумаги и дерева чучело быка, голова которого была перевита венками из свежих ромашек и папоротника. Трудолюбивая колхозная молодежь, вся вусмерть пьяная, – парни в трусах, девки в трусах и лифчиках, – суежилась вокруг огня, выкрикивая непристойности. Везде валялись пустые бутылки, недоеденные караваи хлеба, куски пирогов и лепешек.

– Давай, тащи ее сюда, сучару! – беззлобно орала двое парней во глубину леса. – Ща мы ее, ведьмаху, подпалим!

Еще один парень – маленького роста, почти карлик, с огромной, непропорциональной туловищу бугристой головой, – стоял спиной к московским гостям и, вздрагивая ягодицами, мочился в огонь.

– Степа, не загаси! – хохотнула одна из девок и звонко шлепнула его между лопаток – А то святой Иван рассерчает!

Нина Львовна схватилась за левую грудь, словно собираясь подоить самую себя, а Галина Аркадьевна закричала неожиданным низким басом:

– Фей-ген-зон!

Тут наконец они и увидели Фейгензон. В одной короткой рубашке, с распущенными кудрявыми, почти достающими до земли волосами, Фейгензон, шатаясь, вышла на поляну из лиственных зарослей. Двое парней обнимали ее справа и слева, а третий поддерживал сзади, чтобы она не свалилась.

– Ща тебя будем бабой делать! – вне себя от восторга закричал карлик и торопливо подтянул спущенные штаны. – Чур, мужики, я первый!

– Ми-ли-ци-и-и-я, – застонала Галина Аркадьевна, – где ми-ли-ици-ия...

Увидев, что за ней пришли, и залившись смехом, будто ее щекочут, Фейгензон вырвалась и бросилась обратно в лес. Слышно было, как под ее тяжелыми босыми ногами затрепщали сучья. Парни с ревом побежали за ней. Девки, видимо, нарочно не обращая никакого внимания на незваных гостей, сплели хоровод и, спотыкаясь, пошли вокруг огня:

– А мы просо сеяли, сеяли! – визгливыми голосами заорали девки.

Тогда Галина Аркадьевна твердо сказала простодушному Вартаняну:

– Иди.

Вартанян исподлобья посмотрел на нее пушистыми глазами, и все четверо мальчиков осторожно двинулись к лесу. Нина Львовна перегородила им дорогу.

– Куда вы их посылаете, Галина Аркадьевна? На верную смерть! Назад!

– Милиция! – крикнула Галина Аркадьевна, и на поляне, как ни странно, появилась милиция.

Похожий, если верить портретам, на поэта Лермонтова, широкоплечий и кривоногий, очень молодой лейтенант влетел на поляну, еле сдерживая шумный и взмыленный свой мотоцикл.

– Всем стоять! – проорал лейтенант и, ломая кусты, исчез в зарослях.

Хоровод приостановился.

– Ну че? – спросила одна из девок, большеротая, с красными косматыми бровями. – Че вам здесь надо-то было? Только бы вот нагадить!

Милиционер выволок из леса голую Фейгензон. Она махала обеими руками и заливалась хохотом. Нина Львовна проглотила рыданье:

– Товарищ участковый, вы разрешите нам забрать эту девушку обратно в лагерь? Завтра мы свяжемся с родителями, сообщим на работу отцу...

– Не положено. – Милиционер угрюмо поскреб кадык. – Не по правилу. Вам за эту девушку тоже отвечать придется. Я в том смысле, что она, может, и не девушка вовсе...

Галина Аркадьевна и Нина Львовна подпрыгнули, будто им подожгли подошвы.

– Товарищ участковый! Вы что, хотите отправить ее в милицию?

– В вытрезвитель ее, вот куда, – нахмурился милиционер. – А завтра разбираться...

– Но ей же четырнадцать лет! – промычала Нина Львовна. – Она несовершеннолетняя!

Несовершеннолетняя Фейгензон отвернулась, разинула пухлый рот, и ее начало тут же выворачивать наизнанку.

– А-кх-кх-х! – захлебывалась Фейгензон. Плющ перепачканных волос прилипал к груди. – Ак-х-х, ма-ма-а-а!

– Забирайте! – отрезал милиционер. – И завтра чтобы все были в отделении. Протокол будем составлять. И это... Медицинский осмотр в больнице. Тоже. А я тут покамест по именам всех перепису.

– Че нас переписывать-то? – огрызнулась большеротая, с косматыми бровями. – Мы не убили никого. Иванов день сегодня.

– Кого день? – гаркнул милиционер. – Что за праздник такой? Где надыбали?

– Че надыбали? – загалдели девки. – Он отродясь был! Че нам, Парижскую коммуну, че ли, с вами праздновать?

– А эта как к вам попала? – раскалялся милиционер. – Школьница?

– Школьница? – захохотала косматая. – Эта школьница с нашим Подушкиным вторую неделю е...ся!

– Ложь! – взвыла Нина Львовна и вне себя замахнулась на краснобровую. – Лжешь ты, гадина!

– Отставить! – побагровел милиционер. – Вы мне тут еще своих порядков понаделайте! Мне в гробу видать, что вы с Москвы! Я вам по-русски говорю: забирайте ее и чтобы завтра к десяти утра все в отделении были! А я уж тут сам разберусь, не вашего ума, как говорится. Тут сообщать нужно куда следует. Чтоб по правилам.

В полном молчании, ярко освещенные желтой, до отвращения похожей на бровастую девушку луной, вернулись в лагерь: нетрезвая Фейгензон, которая начала вдруг громко икать, бледные, как покойницы, Нина Львовна с Галиной Аркадьевной и четверо мальчиков, от стыда словно бы одеревеневших. Фейгензон всю дорогу шла очень неровно, пошатывалась.

Этой ночью в лагере не заснул ни один человек. Марь Иванна, причитая и сплевывая, отвела Фейгензон на кухню, напоила чаем, уложила в своей палатке на раскладушке. Фейгензон провалилась в забытье, но все продолжала метаться и всхлипывать. Тогда Марь

Иванна вызвала на разговор Чернецкую, прижала ее к костлявой груди, заглянула в убегающие от вопросов глаза:

– Ты-то смотри, – плаксиво и грозно сказала Марь Иванна, – ты-то у меня смотри, чтоб без глупостей! Это ведь какие дела? Один раз не уследишь, и всё! Кто ее, такую, теперь возьмет?

Маленькая Чернецкая вспыхнула в темноте.

– Понимаешь или нет, об чем разговор-то? – возвысила голос Марь Иванна. – От этого безобразия и дети бывают, и болезни разные! Чтоб тихо сидела у меня! Шляться чтоб не смела без спросу!

– Хорошо, – тоненько ответила Чернецкая и укусила кончик своей пушистой каштановой косы.

Утром, на рассвете, пошел чуть живой розоватый дождик, а небо стало таким низким, что край его зацепился за котел с дымящейся и слегка подгоревшей кашей, который двое дежурных по кухне выволокли и поставили прямо на земле – остудить. На линейке – в восемь, а не в шесть из-за дождя – Галина Аркадьевна и Нина Львовна, не вдаваясь в подробности (ночью ими было принято совместное решение не предавать дело огласке), сказали только, что в лагере случилось ЧП: безобразное поведение Юли Фейгензон (Фейгензон стояла посреди лужайки с опущенной головой) привело к тому, что ее заманили на праздник, который справляют отсталые деревенские ребята, там она первый раз пригубила спиртного, и вот что вышло. Ее товарищи должны решить, как повлиять на Фейгензон, которой наплевать, что в ее возрасте другие девушки и ребята проливали кровь за то, чтобы не было ни спиртного, ни отсталых деревенских праздников.

Втайне ото всех Галина Аркадьевна и Нина Львовна решили после линейки самостоятельно отправиться в милицию, пасть на колени перед вчерашним кривоногим, умолять его не сообщать ни в школу, ни в больницу, не делать никакого медицинского осмотра, потому что так или иначе, но Фейгензон все равно должна была потерять самое дорогое, что есть у любой советской девушки, потому что давно созрела физически, и кроме того, она собирается после восьмого класса идти в техникум, а там ученицы ведут себя как взрослые, и, наконец, если сделать случившееся предметом всеобщего достояния, это может стать ужасным примером для остальных комсомольцев, а Нина Львовна и Галина Аркадьевна останутся без работы. Притом что у Нины Львовны на руках старуха мать, а у Галины Аркадьевны и того хуже: мать и древнейшая тетка.

Целую ночь Галина Аркадьевна убеждала Нину Львовну, что рыжая бровастая девка просто сболтнула и никакой Подушкин ничего ТАКОГО не сделал, но Нина Львовна, с каплями пота на длинном носу, была уверена, что сделал, и все повторяла: «Вот увидите, вот вы последняя и увидите!»

Растерявшиеся комсомольцы только-только начали придумывать, какими словами осудить неправильное поведение Фейгензон, как на лужайку въехали сразу две машины: черная «Волга» и серый, заляпанный грязью «Москвич». Через минуту подкатила еще одна машина – милицейская. За рулем ее сидел вчерашний, обозленный и нахмуренный, лейтенант. У Нины Львовны и Галины Аркадьевны подкосились ноги. Из серого «Москвича» вылезла Людмила Евгеньевна, директор, с маленькими пухлыми руками, в круглых очках, которые делали ее похожей на лягушку, за ней завуч Зинаида Митрофановна, высокая, на прямой пробор, с морщинистым провалом рта, густо набитым золотыми и металлическими зубами, потом бешеный физкультурник Николай Иваныч (он-то и вел машину) и наконец – осторожно, бочком, хмурясь и посмеиваясь, придерживая подбородком наброшенный пиджак, вздрагивая изуродованной воробьиной лапкой вместо руки, выпрыгнул историк Роберт Яковлевич с таким выражением лица, будто его всю дорогу знобило. Черная «Волга» стояла как неживая, ничего не было видно за затемненными стеклами. Никто из нее не показывался.